

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРОЩЕНИИ В ЛАКАНОВСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ<sup>1</sup>

А. ЧЕРНОГЛАЗОВ

*И снова многозначный образ литературного героя, на этот раз Платона Каратаева, выписанного пером Льва Толстого, открывает перед нами возможность осмысления темы прощения. Автор рассматривает ее сквозь призму категорий лакановского психоанализа.*

Жак Лакан не говорит о прощении, пожалуй, ни разу. И не случайно. Дело в том, что заповедь любви к ближнему как к самому себе он, вслед за Фрейдом, почитал заведомо невыполнимой. Невыполнимой хотя бы уже потому, что невозможна, в его понимании, любовь к себе. Невозможна, так как отношения человека к себе, как и к ближнему, изначально построены на агрессивности. Агрессивность в системе отношений, которые он называет *дуальными*, и которые принадлежат к регистру *воображаемого*, неизбежна и преодолевается лишь с введением в отношения между людьми третьей, символической инстанции. Собственно, лишь с появлением этой последней и *возникает* коррелятивный ей человеческий субъект, субъект бессознательного. Прощение, конечно, представляет собой символический акт, оно предполагает наличие символической системы, закона в той или иной форме. Как таковой, оно тоже регулирует отношения человека к ближнему. Но если мы, вслед за о. Василием Термосом, говорим об *онтологии* прощения, то это значит, что этой регулирующей функцией значение прощения не исчерпывается, что оно влечет за собой принципиальную перестройку отношений *субъекта* не только с тем, что Лакан обозначает строчной буквой *a*, то есть с миром себе подобных, но и с тем, что обозначает он *A* заглавным, с местом закона, с регистром символического. И уже она, эта структурная перестройка, влечет за собой и сдвиги на ином – *воображаемом* – уровне. Чтобы проследить, как это происходит, я предлагаю обратиться к литературному эпизоду, рус-

---

<sup>1</sup> Данная публикация подготовлена в продолжение статьи о. Василиоса Термоса «Прощение как полнота жизни», опубликованной в МПЖ № 1, 2007.

скому читателю хорошо известному – эпизоду из последней части «Войны и мира».

Идя в колонне пленных, Пьер обращает внимание на солдата по имени Платон Каратаев, личность которого произвела на него необыкновенное впечатление. Однажды, на ночном привале, приблизившись к костру, он застал там Платона, который рассказывал солдатам «знакомую Пьеру историю». Историю эту он слышал уже не впервые – «Каратаев шесть раз ему одному рассказывал эту историю и всегда с особенным радостным чувством». Очевидно, он многократно рассказывал ее и другим, испытывая каждый раз радостное, восторженное чувство. Более того, «тот тихий восторг, который, рассказывая, видимо испытывал Каратаев, сообщился и Пьеру». История эта, объясняет Толстой, «была о старом купце, благообразно и богобоязненно жившим с семьей и поехавшим однажды с товарищем, богатым купцом, к Макарью. Остановившись на постоялом дворе, оба купца заснули, и на другой день товарищ купца был найден зарезанным и ограбленным. Окровавленный нож был найден под подушкой старого купца. Купца судили, наказали кнутом, и, выдернув ноздри... сослали в каторгу». Годов десять спустя каторжные разговорились у костра и «зашел у них разговор, кто за что страдает, в чем богу виноват... Стали старичка спрашивать: ты за что, мол, дедушка, страдаешь? – Я, братцы мои миленькие, за свои, да за людские грехи страдаю... И рассказал им, значит, как все было дело по порядку. Я, говорит, о себе не тужу. Меня, значит, Бог сыскал. Одно, говорит, мне свою старуху и деток жаль. И так-то заплакал старичок. Случись в их компании тот самый человек, что купца убил... Заболело у него сердце. Подходит таким манером к старичку – хлоп в ноги. За меня ты, говорит, старичок, пропадаешь... Я, говорит, то самое дело сделал и нож тебе под голова сонному подложил. Прости, говорит, дедушка, меня ты ради Христа... Старичок и говорит: Бог, мол, тебя простит, а мы все, говорит, Богу грешны. Я за свои грехи страдаю». В этом месте рассказа Каратаев начинает говорить «все светлее и светлее, сияя восторженной улыбкой... как будто в том, что он имел теперь рассказать, заключалась главная прелесть и все значение рассказа». Убийца винится по начальству, посылают бумагу, дела доходит до Государя. «Пришел царский указ: выпустить купца, дать ему награжденья, стали старичка разыскивать... А его уж Бог простил – помер... – закончил Каратаев и долго, молча, улыбаясь, смотрел перед собой».

История эта не из веселых, но рассказчик буквально одержим ею и испытывает, рассказывая ее, глубокую радость. Более того, «не самый рассказ этот, но таинственный смысл его, та восторженная радость, которая сияла в лице Каратаева при этом рассказе, таинственное значение этой радости, это-то смутно и радостно наполняло теперь душу Пьера». Именно с этой истории началась в душе Пьера бессознательная («ему казалось, что он ни о чем не думает»), но радикальная внутренняя перестройка («но да-

леко и глубоко где-то что-то важное думала его душа. Это что-то было тончайшее духовное извлечение из вчерашнего его разговора с Каратаевым»). Перестройка, освободившая его для новой любви – любви к Наташе Ростовой. Не случайно в одной из первых же своих бесед с ней он пересказывает ей историю Каратаева, видя «как будто новое значение во всем том, что он пережил» и испытывая при этом «редкое наслаждение».

Что движет Каратаевым, когда он без конца, сам не зная зачем, рассказывает эту историю тем же собеседникам вновь и вновь? Почему доставляет она такую радость? Почему радость эта передается Пьеру, хотя смысл истории ему непонятен – передается вместе со стремлением эту историю пересказывать, стремлением, которому не чуждым оказался и сам донесший до нас ее автор, не говоря уже об авторе этой статьи, с трудом удержавшемся от желания привести ее полностью? Почему рассказ о гибели хорошего человека, безвинно теряющего жизнь, имя, семью и сгинувшего на каторге без следа, наполняет рассказчиков и слушателей такой радостью – вспомним, что именно в конце его, при упоминании гибели старика, испытывает Каратаев особое просветление и восторг.

Перед нами история о прощении – именно в нем главное ее содержание. Чем это прощение мотивировано? Дело не в особенной любви купца к убийце – прощает он потому, что считает себя в долгу перед Богом и страдает за свои собственные грехи. Говоря, что руками убийцы его «сыскал Бог» – нашел, как находит преступника полицейский сыщик, – купец переводит свои отношения из регистра *воображаемого* в регистр *символического*. Посредником между людьми, организующим их взаимоотношения, выступает, в самом широком смысле, Закон, представляющий собой регистр символического. Но отношения, которые он регулирует, суть отношения между себе подобными, маленькими *a*, связанными между собой воображаемой, зеркальной зависимостью. Сколь бы глубоко вмешательство Закона в эти отношения ни было, они остаются отношениями воображаемыми, в них сохраняется неустранимый, обусловленный нарциссической подоплекой, источник агрессии. Запишем условно схему таких отношений, как  $a - (A) - a^*$ . «*A*» не играет в таких отношениях самостоятельной роли, это всего лишь *посредник*, и притом посредник безличный, мертвый, несмотря на вполне реальное воплощение свое в сонме фигур, олицетворяющих в обществе правосудие. Что касается субъекта, то ему и вовсе в этой схеме нет места – он мертв в ней, как мертв в ней закон. В чем состоит акт прощения? Купец, испытывающий чувство вины, то есть, говоря языком христианства, знающий свою греховность, не проявляет по отношению к ближнему агрессии, не требует расплаты в *воображаемом* плане, а использует долги ближнего перед ним

как вексель в уплате собственного символического долга Другому. Это именно символический акт, ибо дает он то, чего у него нет, чего он фактически уже лишился. Заметим, что, делая это, он следует притче, которую находим мы в 16-й главе Евангелия от Луки: «Один человек был богат и имел управителя, на которого ему донесено было, что расточает имение его; и, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоём. Ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам в себе... знаю, что сделать. Чтобы приняли меня в дома свои, когда отставлен буду от управления домом. И призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты должен господину моему? Он сказал: сто мер масла. Он сказал: возьми твою расписку и садись, скорее напиши: пятьдесят. Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: сто мер пшеницы. И сказал ему: возьми свою расписку и напиши: восемьдесят. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своём роде». С уменьшением долга должников перед ним как перед управителем уменьшается и долг управителя перед господином.

Прощая грабителя преступление, купец принимает его последствия как уплату собственного символического долга. Разрушенная жизнь, разорение, каторга, дети, оставшиеся сиротами, безутешная жена – все это благодаря прощению стало из повода для отчаяния источником радости, символической ценой, уплаченной за примирение с Другим, выступающим уже не как мертвый Закон, а как личное, живое начало. Другой из посредника становится собеседником, символическим партнером, а посредником, наоборот, выступает располагающийся в регистре воображаемого убийца,  $a^*$ . Это будет соответствовать перестановке на нашей схеме:  $a - (a^*) - A$ . Воображаемый партнер выступает в ней как посредник в отношениях с партнером символическим. Но это уже не безличное и мертвое место закона, не бог философов и ученых, а живой Бог, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Именно к Нему обращается купец, и отношения его к ближнему, в данном случае, к убийце его товарища, служат символическому урегулированию их отношений. Другими словами, схему можно было бы переписать в виде  $S / - (a - a^*) - A$ , где отношения между людьми возводятся в символическое достоинство, служат установлению символических отношений субъекта с Другим. Что вполне соответствует духу Евангельских текстов, где поступки, совершенные по отношению к ближнему, ставят человека в прямые отношения с Богом. И дело здесь не в каком-то мистическом присутствии Бога в ближнем, а в том, что отношения к ближнему символически соотносят нас с Ним – не случайно просим мы о прощении и даем его «ради Христа».

Но остается другой вопрос, не менее интересный, вопрос о впечатлении, которое рассказ этот производит на слушателя и самого рассказчика. Вспомним, что «главная прелесть и значение рассказа» заключалась для Каратаева в его окончании – в моменте, когда восторжествовавшая было справедливость уже просто-напросто не находит старика-купца. Кульминация радости связана не с торжеством справедливости, а, напротив, с моментом, когда она попрана, когда она оказывается бессильна и, собственно говоря, не нужна.

Если мы будем рассматривать эту навязчиво повторяемую историю как своего рода сновидение, как осуществление бессознательного желания рассказчика, то в чем это желание состоит, почему для осуществления его необходима гибель главного персонажа, его исчезновение? Потому, очевидно, что именно в силу страдания и несправедливой, безвинной гибели героя выясняется, неожиданно для нас самих, что радость, которую мы вместе с Каратаевым и Пьером испытываем, не только преодолевает естественное сочувствие судьбе персонажа, но и полностью затмевает его, обнаруживая своего рода откровенное, несдержанное бесстыдство. Возникает парадоксальная ситуация, когда горе ближнего вызывает у нас не сочувствие, а нескрываемое наслаждение. Это и есть, собственно, то самое, что называет Лакан *plus-de-jouir*, наслаждением одновременно избыточным и избытым, отвергнутым, определяя его, скажем, в Семинаре XVI, как «функцию отказа от *jouissance* (слово тоже многозначное, означающее как наслаждение, прежде всего сексуальное, так и легитимное владение и пользование определенным благом) следующее из определенного дискурса» (XVI, p.19). «В симптоме», говорит он далее – а перед нами здесь явно симптоматическое образование, – «мы имеем дело с движением субъекта вокруг того, что мы называем прибавочным наслаждением, но что сам он назвать не способен» (X, p.21). Но проявляется оно отнюдь не в плане истории как таковой, не в плане повествования, в том, что Лакан называет *enonce*, а в акте ее воспроизведения и выслушивания, *enonciation*. Прощение, данное стариком-купцом, не получающим в рассказе никакой видимой награды, а, напротив, уходящим из жизни, доставляет прибавочное наслаждение нам, воспроизводящим бессознательно совершенную им работу отказа, работу символизации, труд символического Богообщения, символической жертвы. Невидимое в плане повествования становится видимым в плане акта высказывания, приносит свой плод в рассказах и слушателях. Наша реакция на рассказ, испытываемая нами радость и проливает свет на то, что в рассказе скрыто. В ней-то, а вовсе не в самой истории, и заключается отсутствующий в рассказе Каратаева сча-

стливый конец. Счастливый, в частности, для героев романа – для самого Каратаева, сумевшего смиренно принять неминуемую для него смерть, и для Пьера, избавившегося от груза ложного Я с его бременем целевых установок и освободившего свое желание для новой любви. Но счастье не венчает подвиг, оно предшествует ему, и подвиг Пьера, насколько знаем мы о замыслах Толстого, ждет его впереди.

Прощение, таким образом, выступает в нашей истории как символический акт, устанавливающий, ценой отказа от обладания / наслаждения, символические отношения с Другим. Субъект, чье желание составляет внутреннюю пружину отказа, остается скрытым, выступая на поверхность лишь вне события, в повествовании о нем, в виде того, что описывает Лакан как «провалы, превращающиеся у меня в (*a*), читай: объект маленькое *a*, а точнее: то, что отброшено, что окажется высказано лишь когда я умру, когда меня, наконец, услышат, а еще точнее: первопричин(а) моего желания». Радость, которую испытываем мы при слушании и рассказе, оказывается отражением, откликом – а тем самым и живым свидетельством – совершаемого в акте прощения ближнему примирения с Богом.